***

Пауки с отпечатками свастики
на холодной мохнатой спине,
уховертки, ужи, головастики,
почему вы мерещитесь мне?

Не напрасно ли мною угадана
эта тропка, ведущая в лес,
где верхушки калмыцкого ладана
достают до высоких небес?

Пирамиды и храмы, и пагоды,
вечный труд муравьиных рабов,
на обед — бирючиные ягоды
или дикое мясо грибов.

Или трапезы длятся обильные
среди сморщенных листьев травы,
где охотятся осы могильные
и лежат муравьиные львы.

Где доносятся звуки постылые —
шелест, шепот, жужжанье и зуд:
многоногие, сетчатокрылые
шевелятся, летят и ползут.

Дремлет похоть в движеньях развинченных,
спят гадюки, друг друга обняв,
и опенки в рубашках коричневых
на гнилых изгибаются пнях.

***

Человеку неловко,
что отбились от рук
жук и Божья коровка,
крестоносец-паук,

и улитка в затворе
(как предсказывал Кант),
рыбы-ангелы в море,
богомол-дилетант.

Снится нам, неофитам,
мотылёк — как Аллах
с неземным алфавитом
на блестящих крылах,

снятся сфинксы, химеры,
послесловья к судьбе —
то ли символы веры,
то ли вещи-в-себе,

то ли это движенье
стекловидной реки,
где живут отраженья —
жалких слов двойники,

то ль сияние истин
возникает во мгле
сквозь мозаику листьев
на осенней земле…

***

Мы жили наготове
поесть за пятачок,
но вдруг в каком-то слове
завёлся червячок.

Он нам открыл науку —
молчать и голодать,
и каждый день по звуку
из слова выедать.

Он жалок был и беден,
и телом неказист,
сам по себе — безвреден,
но грыз словесный лист.

Он проползёт по краю
в ночной чернильной тьме —
и я уже не знаю,
о чём поведать мне.

О том ли, как синица
летит через моря?

Но вижу — кровь сочится
опять из словаря.

***

Случайно в шесть утра проснуться в день базарный
и вспомнить о цветах, плодах и овощах...
Но свет войдёт в окно, как ангел лучезарный,
оставит лёгкий след на мыслях и вещах.

У заводи сидит рыбак с тончайшей леской,
он ждёт, как ждёт больной, движения воды,
а бабочка лежит за белой занавеской,
как мёртвая жена у Синей Бороды.

Хозяин за окном окучивает грядки
под еле слышный звон лиловых бубенцов,
а на сырой земле в священном беспорядке
лежат, закрыв глаза, младенцы огурцов.

***

Среди странных взлётов и падений,
в лунном свете с головы до пят,
богомолы в виде привидений
молча над полянами висят.

Лишь один из них, лишённый крова,
от себя и мира отрешён,
силится обманутое слово
натянуть на лоб, как капюшон.

Но пока он к смысловой палитре
добавляет краску или две,
странный зверь в пирамидальной митре
в разноцветной движется траве.

И пока изгой из богомолов
с именем нащупывает связь,
торжествует звука странный норов,
жизнь проходит, плача и смеясь.

И среди растений в виде свечек,
ничего не видя впереди,
засыпает навсегда кузнечик
с маленькою арфой на груди.

***

Ирине Евсе

Богомол на воле расставил усы-антенны.
Как сигналы «sos», дождевые он ловит капли.
И рифмуют смело цветущие хризантемы
лепестки свои с опереньем японской цапли.

Наступила осень — и стало темно и голо.
Перестал сизарь ворковать со своей голубкой.
Лёгкий пух небесный, летящий от уст Эола,
отменяя пафос, прикинулся снежной крупкой.

В телефонной трубке я голос знакомый слышу —
тёплый ветер с моря с кавказским звучит акцентом:
«Я сегодня буду орехи бросать на крышу,
покупать инжир и лежать на камнях под тентом».

Три банана купишь, в свободный зайдёшь автобус,
чтобы плач о жизни тебя с головой не выдал…
Под рукою Бога вращается старый глобус —
то ли шар земной, то ль фетиш непонятный, идол.

Есть такое племя, у коего нет тотема —
это племя слов, что колотит в свои тамтамы.
А в петлице осени астра иль хризантема
чуть привяла, словно букет для Прекрасной Дамы.

***

Протекает жизнь сквозь сердечный клапан,
как река, — в смятении и тоске.
Но стоит, как стражник, на задних лапах
богомол на розовом лепестке.

Получает визу в небесном МИДе
и летит на юг журавлей семья,
тихо спит в коричневой пирамиде
золотая мумия муравья.

А сверчок, исполненный тайной грусти,
запускает звука веретено.
Дети белых бабочек спят в капусте,
стрекоза лиловое пьёт вино.

Воробьи в ветвях собирают вече,
чтоб потом спокойно уснуть в ночи.
Человек, владеющий даром речи,
где твои медсёстры, твои врачи?

Неужели это — ветла в овраге,
молодой сверчок на своём шестке,
муравей в расписанном саркофаге,
богомол на розовом лепестке?

***

Гриф, словно царь, восседает среди плебеев,
и, примеряя смертельный размер петли,
пляшут над озером девери скарабеев.
а над поляною — дочери чёрной тли.

Что же нам делать, когда мы увидим это?
Что нас с судьбою собственной примирит?
Буквы чужого имени — альфа, бэта —
или — вода живая, яблоки Гесперид?

Снова Тезей лабиринт покидает Критский,
в тёмном Аиде Орфея звучит свирель —
значит, рябина оденется в шёлк персидский
и шемаханский бархат накинет ель.

Вырастут лотосы, и плодоносным илом
вскормлены будут грифы в конце времён,
чтобы, как ангелы, стали парить над миром
бражник, стеклянница, парусник, махаон.

***

Мы встретились в день избавленья от мук.
Деревья листвой шелестели.
Была я печальна, как маленький жук,
лежащий в холодной постели.

Печаль раздавалась, как голос с небес,
и рос над покинутым городом лес.

А в городе этом в квартире одной
кипел, задыхаясь, кофейник,
и я засыпала, и рос надо мной
случайной любви муравейник.

Вокруг шевелился таинственный сор,
и птицы смотрели из лиственных нор.

А в городе крутят немое кино,
прощальный горит целлулоид,
и бабочки в пёстрых летят кимоно.
и смерть их, преследуя, ловит.

И, силы теряя, ползёт муравей
к фонтанам деревьев под струи ветвей.

Коричневый город на узкой тропе
не зря называют Китаем...
Увидев друг друга в случайной толпе,
мы ужас любви испытаем —

и, взявшись за руки, как дети, пойдём
туда, где вдвоём навсегда пропадём,

туда, где в сплетении чёрных корней,
не связанных узами брака,
исчезло пространство,
и спины камней
едва выступают из мрака.

***

1.

Лёжа в своей кровати, «аксиос» говорю
календарю, заплате, бледному фонарю,
бедной сухарной крошке, бабочке и осе,
кружке, губной гармошке, мухе, поскольку все
эти предметы жизни, мелкие существа
славят в своей отчизне тайный закон родства.
вот и щадят их войны, пагубы, забытьё,
ибо они достойны в Царство войти Твоё.

2.

Лёжа в своей постели, «аксиос» я шепчу
мху, соловьиной трели, солнечному лучу,
старому снимку Бреста, трещине на стене,
муке, знакомой с детства, с детства знакомой мне,
лучшей на свете строчке — пропуску в мир иной,
сну в кружевной сорочке с крыльями за спиной,
радуге многослойной, ангелу на пути,
ибо они достойны в Царство Твоё войти.

3.

Я не о тех, кто подвиг свой преломил, как хлеб.
Где они — Рюрик, Хлодвиг, братья Борис и Глеб?
Тянутся, словно птицы, в радужные края
братья мои, сестрицы, дочери, сыновья,
пляшут скворцы в скворешнях, плачут отец и мать…

Разве достоин грешник «аксиос» им сказать?

4.

Лёжа на нижней полке в поезде «Астана»,
я вспоминаю Волги влажные письмена.
На золотых песчаных отмелях у воды —
знаки событий тайных, будущего следы.
Вижу я незнакомца с удочкою в руке,
маленького японца с рюмочкою сакэ,
Вижу я, как стрекозы воздуха ткут парчу, —
и не таясь, сквозь слёзы «аксиос» я шепчу.

***

День проходит без смысла и толка,
но летят пауки в облаках
с небольшими запасами шёлка
в небогатых заплечных мешках.

Среди прочих вещей непонятных
возникает такой артефакт:
платье осени в шёлковых пятнах
небольших серебристых заплат.

И, запутавшись в гуще событий,
царь природы в железном венце
вдруг почувствует шёлковых нитей
тонкий холод на трезвом лице.

Вечность невод раскинула тайный...
В паутине её мы могли б
притвориться толпою трамвайной
или стаей бессмысленных рыб,

иль, насытившись смертью мгновенной,
сняв сосновый пиджак мертвеца,
вдруг проснуться с улыбкой блаженной,
паутину стирая с лица.

***

Алые листья клёна,
бабочки и жуки…
В местности отдалённой
жить тебе не с руки.

Тягостный груз привычек
что ж ты влачишь с трудом?
Лучше построй из спичек
лёгкий, как пламя, дом.

И перейди на шёпот:
только глухой поймёт,
что загустевший опыт
напоминает мёд.

Думай о числах, звуках,
скважинах и ключах,
о пережитых муках,
о неземных лучах.

Видишь ты, как неловко,
руку прижав к руке,
Божия спит коровка
в спичечном коробке?

***

Водишь слово по кругу: сурьма, кутерьма и тюрьма.
Слово к свету ведёшь, а вокруг — манихейская тьма.
Слово долбишь, как землю, она тяжела и горька,
а твои сослуживцы стоят у пивного ларька.

У пивного ларька Вознесенская церковь была,
и над ликами пьяниц плетут пауки купола,
и в Святая Святых вдруг въезжает, пыля, грузовик,
и над куполом крест водружает паук-крестовик.

***

Если всё живое лишь помарка...
О.Мандельштам

Света нет. Перегорели пробки.
Жду, что будет память коротка,
я, сидящий в спичечной коробке
наподобье майского жука.

Дрогнут крылья в теле полусонном.
Мне прямого утешенья нет —
я не знаю, по каким законам
кафкианский строится сюжет.

Если космос — тёмная пучина,
Кафка — дилетант или профан,
то в замочной скважине причина
кроется, как змей Левиафан.

Жёсткие надкрылья бесполезны
для личинок нерождённых слов...
Вставь железный ключ в источник бездны
и сломай хитиновый покров.

Божия коровка

Лист кленовый в виде заголовка
прячется в осеннем дневнике.
Ищет молча Божия коровка
крошки хлеба на твоей руке.

Девочка, принцесса Навзикая,
медленно старается ползти
по твоей руке, пересекая
длинный след от Млечного Пути.

И потоком слёз благословенным
льются листья цвета янтаря:
мир охвачен пламенем мгновенным
в первой половине октября.

Я слежу, дрожа и замирая.
за коровкой Божьей, чтоб опять
на твоей руке в преддверье рая
лёгкий след её поцеловать.

***

Спит мой отец во гробе, спит на цветке роса,
спит в арестантской робе тоненькая оса,

дуб на холме укутан сном с головы до пят...
Ночью, а также утром непоправимо спят

граждане всех сословий — бабочки, светляки,
птицы в одежде вдовьей, камни на дне реки.

Спят существа природы, но, не смыкая век,
бьётся в сетях свободы маленький человек.

Галстук, очки, бумажник, пёстрые рукава —
он это — или бражник Мёртвая Голова?

Нищий он? царедворец? евнух или паша?
висельник? чудотворец? каменная душа?

Что, человек неспящий, хочешь сказать в тоске
солнцу во тьме слепящей, окуню на песке?

Слово твоё, блуждая, плещется, как волна,
прошлое пробуждая от векового сна.